

О том, почему в тюрьме не стоит отказываться от чифирия, о провидческом сне матери и о том, как читал Достоевского сокамерникам

Куда

2. Чистопольская тюрьма, Сергей Григорьянц АССР
 УЭ-148/ст-4

<http://beta.oralhistory.ru/talks/orh-1975>

Кому

Григорьянцу
 Сергею Ивановичу

20 апреля 2016

Собеседник

Григорьянц Сергей Иванович

Ведущий

Петров Сергей Геннадьевич

Дата записи

Беседа записана 20 апреля 2016 и опубликована 5 июня 2018.

Введение

В пятой беседе правозащитник, журналист и коллекционер Сергей Григорьянц продолжает рассказ о своем первом тюремном заключении. По традиции беседа начинается с дополнений к предыдущей. Наш собеседник, рассказывая новые подробности, пытается заново осмыслить полученный им тюремный опыт. Он говорит о том, как была устроена формальная процедура начала голодовки в советских исправительных учреждениях, почему, когда тебе предлагают чифирий, лучше не отказываться, и как заключенные «косили», чтобы оказаться вне тюремных стен на больничной койке. По словам Григорьянца, в Чистопольской тюрьме он пережил очень интересный эпизод, когда читал своим малообразованным сокамерникам Достоевского и наблюдал за их непосредственной реакцией.

Сергей Иванович Григорьянц: Ну что ж, тогда это будет для начала дополнения.

Сергей Геннадьевич Петров: Да, давайте дополним нашу предыдущую беседу.

С. Г.: Ну вот, я помню, что я не мог вспомнить название города Рыбинск в рассказе о том, как я просился в местную лагерную, что очень важно, то есть больницу МВД психиатрическую. На самом деле это была не такая безопасная просьба, и трудно сказать, хорошо или плохо, что меня туда не впустили. Я, правда, был, конечно, очень уверен в себе, но все дело в том, что, как я уже сказал, санитары там были ээки. Причем ээки чаще всего по каким-то своим сложным отношениям в своих зонах спасавшиеся в качестве санитаров, глубоко презираемые, соответственно, в зоне, где они были, и вымещавшие свою злобу на тех, кто в этих колониях (это касалось не только Рыбинска) считались больными. Часть из них действительно были больными, и потом когда-нибудь мы дойдем до случая, когда я сам сидел с вполне откровенным шизофреником в одной камере, но некоторые спасались таким образом (говоря на лагерном языке, «косили») в надежде раньше выйти или тем или иным способом освободиться, а санитары были совершенно бесконтрольны: зверски их избивали, увечили, насиловали и так далее. Но все дело было в том, что некоторых из них потом возвращали в зоны. Иногда не в те, из которых они попали в Рыбинск, а в другие, но все равно, как правило, этого же управления, и довольно быстро, как бы они ни врали, становилось ясным, откуда они пришли, — и вот тут пощады им не было. Их, в свою очередь, избивали зверским образом, и я не помню, при мне ли это было. Ну, по крайней мере, я этого точно не видел, а знал по рассказу об одном из таких бывших санитаров. Ну, я не видел этого своими глазами и знаю только в пересказе. Но, по-моему, это было как раз в то время, когда я был в Юдово. Ну, Юдово — это вот и есть пригород...

С. П.: Рыбинска?

С. Г.: Нет, Ярославля...

С. П.: А!

С. Г.: ...где располагалась наша зона. И туда вернулся один из таких санитаров. Некоторое время ему удавалось скрывать, откуда его перевели, потом его разоблачили, поскольку в уголовном мире всегда информация, в общем...

О том, как распространяется информация в зоне. О своем «особом положении»

С. П.: А как вообще это происходит? Как она распространяется? Ну, вот, я знаю, что есть там какие-то «малявы», да? Есть какие-то...

С. Г.: Ну, да, ну... (*смеется*)... Малявы так называемые — это в первую очередь средства переписки в тюрьмах, где действительно они передаются или с теми, кто переходит из камеры в камеру, или, скажем, из окна в окно достаточно хитроумными способами с удочками. Или в крытых тюрьмах периодически через туалеты в соседних камерах, которые на самом деле имеют общий сток, и, в общем, это тоже удается. Ну, в таком, лагерном мире это чаще всего люди, которых все время переводят из одной колонии в другую по тем или иным причинам, а в уголовном мире полагается друг другу подробно рассказывать обо всем и обо всех, о ком ты слышал. И таким образом информация доходит. Так или иначе, этого человека опознали, зверски избивали в проходе между деревянными двухэтажными шконками. В конце концов, уже избитый лежал между ними на полу и не мог подняться. Тогда кто-то надел сапоги и прыгнул на его тело уже в сапогах.

С. П.: Ну, это смерть, я так понимаю.

С. Г.: Ну, кажется, это не было в тот момент смертью, но, по крайней мере, это точно были переломанные ребра и... не знаю... Ну, я довольно легкомысленно, поскольку у меня всегда было совсем особое положение, считал, что мне ничего подобного не грозит. А у меня действительно было совсем особое положение. Вам показалось, что я как-то слишком легко рассказываю о колониях по сравнению с тем, что писали и рассказывали другие. Ну, во-первых, мне действительно везло, потому что у меня, человека абсолютно не подготовленного к этому миру... Нормально, скажем, особенно молодые люди, приходя в нашу же колонию, если они были из этой же области, они сразу говорили, в какой отряд они хотят, они точно знали, где какой бригадир, где какой порядок и так далее. Потому что это был очень общающийся мир и с советской действительностью. Ну вот, половина детей попадала в армию, а половина в лагерь. В поэтому, конечно, быть совершенно неподготовленным в этом достаточно опасном мире было, ну, реально небезопасно, поскольку существовало множество разработанных ловушек для таких вот ничего не понимающих людей, как я там еще что-то такое. Ну, во-первых, у меня все-таки все происходило по нарастающей. Те камеры в «Матросской тишине», в которых я был, которые были, конечно, вполне отвратительные, но это были подобранные камеры и, конечно, очень спокойные, где ничего не происходило, где только так вот, слегка я мог что-то узнать. Но и зона в Юдово была ведь тоже образцовой зоной, меня не случайно послали именно туда.

С. П.: То есть был кто-то, кто специально принимал решение о том, чтобы вас отправить в более...

С. Г.: Ну конечно, конечно! Всегда у таких людей, как я, у всех политзаключенных бывает какой-то так называемый куратор. Ну а со мной они вообще, как я уже рассказывал, в дальнейшем надеялись договориться, приезжали ко мне в зону и так далее. То есть меня они никогда не выпускали из поля зрения. То есть это была считавшаяся образцовой зоной, то есть зона, в которой был внешний порядок. Хотя, конечно, существовала достаточно серьезная подспудная жизнь.

С. П.: Естественно, все же вот эти «традиции» там когда там и что там нельзя там...

С. Г.: Нет, дело не в этом. Ну, во-первых, конечно, там не было воров, но там был[а] достаточно значительная часть людей, соблюдавших воровские понятия. Не все, но какая-то часть, очень многое определявших в зоне. И администрации всегда это было удобно, потому что всегда можно было какие-то свои обязанности переложить на них.

С. П.: А в принципе вот эти воровские понятия игнорировать можно было? То есть вы говорите, что кто-то соблюдал, а кто-то нет, значит, это...

С. Г.: Нет. Тут дело не в этом. Тут дело в том, что игнорировать их было опасно, считаться с ними, бесспорно, нужно было, потому что они поддерживались, в общем, с применением жестокой силы и это самое. Опасно было, скорее, сделать какие-то ошибки, не зная их.

С. П.: Ну вот например? Какие вы были вынуждены сразу соблюдать воровские понятия, законы?

С. Г.: Ну нет! Ну, для меня... Понимаете, я был совершенно на особом положении все-таки, еще раз повторяю. Я... Во-первых, это была зона так называемого усиленного режима. Усиленный режим — это режим (в таких же камерах я был и в Матросской тишине), это режим для людей, совершивших довольно серьезные или просто тяжелые преступления, но первый раз, никогда еще не бывшие... не имевшие судимостей.

С. П.: Насколько я помню, четыре было градации, да? Был, значит...

С. Г.: Да.

С. П.: Общий...

С. Г.: Общий.

С. П.: ...усиленный, строгий...

С. Г.: Усиленный, строгий и особый. Причем, как ни странно, усиленный был, наверное, наиболее спокойный. Общий режим был для людей, совершивших совсем уж незначительные преступления: в основном это было хулиганство или мелкие кражи. Но там и порядка никакого не было. Там... ну, вот, в значительной степени царило то, что называлось уличным беспределом. А на усиленном режиме все-таки, тем не менее, какой-то порядок поддерживался, с одной стороны, администрацией, а с другой стороны, уголовным миром, который был совершенно... который уже был совсем не таким, как... в 20—30—40-е годы. Уже очень многие принципы как бы естественно нарушались, забывались. Но тем не менее, какие-то соблюдались и, в общем, скорее способствовали, ну, по крайней мере, внешнему благополучию. А мое особое положение определялось, ну, во-первых, политической статьей. А во-вторых, может быть, кто-то бы на это и не обратил внимания и пренебрег, но моим очень жестким и постоянным — и для меня это оказалось спасительным позже, когда я попал в действительно страшную Верхнеуральскую тюрьму — противостоянием администрации.

” Вот было совершенно очевидно, что мне готовы дать все — ну, по крайней мере, те поблажки, которые может дать администрация, а я, тем не менее, их не принимаю, а я, тем не менее, этому противостою, а я, совершенно очевидно, ни с кем не сотрудничаю.

И это заведомо ставило в очень сложное положение даже тех из уголовников, которые формально будучи людьми, чрезвычайно героическими и соблюдающими все уголовные законы, но, тем не менее, тайно сотрудничавшими с администрацией, и которых периодически на меня натравливали. Но дело в том, что сделать что-то дурное человеку, с которым так откровенно борется администрация, значило себя поставить в положение, ну, мягко говоря, сомнительное. И плюс к этому на самом деле самым важным в моем положении было то, что мне было необычайно интересно. Это было такое богатство судеб, такое богатство языка, такие совершенно необычайные выдумки и хитросплетения! И вообще, это был мир, о котором я не имел никакого представления.

С. П.: То есть вы это как-то все впитывали и...

С. Г.: Синявский когда-то написал в гнусной своей статье, когда впервые приехал в Советский Союз и еще сидели политзаключенные, что самые счастливые годы он провел в тюрьме. И это, конечно, было правильно: ну, во-первых, он сидел трусливо, не нарушая никаких режимов содержания, а пользуясь всеми благами и так далее, и так далее — ну, это уж само собой. И поскольку он очень много лгал, то он не написал все равно настоящей книги о лагере, хотя вот его очарование вот этим миром, я понимаю вполне. Еще более поразительны письма Даниэля о том, какое словесное, сюжетное богатство его окружает. Даниэль ведь... Даниэль явно мечтал написать книгу о лагере, но из-за того, что лживой было вся эта история с Синявским, и он не хотел об этом рассказывать, а писать часть правды и часть лжи он тоже не хотел и не умел, он, в общем, перечеркнул то самое большое богатство, которое ему открылось и всю свою дальнейшую литературную судьбу. Я ведь тоже когда освободился, и у меня были целые тетради с лагерными пословицами и поговорками, с лагерными стихами. К сожалению, это уже было так давно, что я сейчас уже помню далеко не все. И я уже много лет не живу этим.

С. П.: А тетради сохранились, да?

С. Г.: Может быть, часть сохранилась, но после этого у меня было еще много обысков, простите меня. Но тем не менее, это было, конечно, замечательно интересно. Я писал отдельно о татуировках, я писал о сюжетах... Ну вот, ну, то есть, понимаете, у меня был подлинный интерес к этим людям. А у них был бесспорный подлинный интерес ко мне, человеку, который, заведя отделом в журнале «Юность» и так далее, знал просто всех тех людей там по Дому кино, по Дому литераторов, по редакциям, которых они видели на экране и которых они, это самое...

С. П.: Вы как-то рассказывали про них? Я так понимаю, что в тюрьме очень важен какой-то багаж, который есть, ну, не знаю, историй, рассказы, вот эти романы тискать, вот это вот...

С. Г.: Нет.

С. П.: Вам это как-то пригодились?

С. Г.: Романы тискать — это... Вот, понимаете, вы постоянно смешиваете разные... это самое... Я потом дойду до этого. И когда

я попал в Чистопольскую тюрьму, я действительно пересказывал какие-нибудь там итальянские фильмы, которые не шли там с Марчелло Мастоаяни, на широком экране. Но довольно быстро мы начали читать «Преступление и наказание», а потом и «Записки из Мертвого дома».

С. П.: Это было из библиотеки тюремной, да?

С. Г.: Да. И это, в общем, было гораздо интереснее. Так что на самом деле, ну как вам сказать, нельзя взять кусок из рассказа Шаламова и перенести его... Это другое время и другие обстоятельства, но тем не менее тоже любопытные, тоже, в общем, непростые все равно. Так что мое положение и впрямь было особенным с самых разных точек зрения. Ну, и, в общем, мне это очень помогало. Обстоятельства, в которых я оказывался, становились все более трудными и все более сложными постепенно, по нарастающей, но я уже и ориентировался немножко лучше, и у меня уже за спиной был какой-то запас такой вот. Ну что ж, мне кажется, что я полезную вещь рассказал пропущенную, да?

С. П.: Да, это интересно.

О своем нежелании договариваться

С. Г.: Ну, я могу рассказать как бы незначительную, но для меня имевшую большой смысл ситуацию в пересыльной тюрьме, где ко всем тем забавным историям, которые я уже рассказал... по никогда не выключавшемуся репродуктору я вдруг услышал имя своего деда. Это была какая-то совершенно, ну, такая... развлекательная, что ли, передача о людях, которые умеют перемножать какие-то гигантские числа в уме, в общем, обладают какими-то такими вот способностями. И упоминался один из таких людей, который, значит вот, перед революцией... нет, наверное, в годы нэпа проводил такие сеансы в Киевском цирке, и его проверяла группа киевских профессоров. И были перечислены мой дед, профессор Рузский, еще кто-то. На самом деле, мне не так легко объяснить довольно важную вещь, на чем было основано и тогда и потом вот это почти необъяснимое со стороны мое жесткое противостояние, полное неприятие, полное нежелание о чем-то договариваться и вообще воспринимать их как людей. На что и следователи, и охранники постоянно — в разных местах, в разные годы — постоянно в каких-то случаях жаловались. Вероятно, это было связано не столько с политическим моим представлением о демократии, о правах человека, чем много я потом занимался. Я на самом деле очень не любил говорить ни на каких митингах, ни... а скорее вот такой внутренней моральной отчужденностью, которая у меня есть до сих пор, и большая часть ошибок, которые, на мой взгляд, совершило русское общество, доведя свою страну до такого состояния, как раз связано с тем, что эта отчужденность была довольно редким качеством. У меня было внутреннее представление о преступности организации, которая меня, скажем, арестовывала, сажала, держала в тюрьме, организаций, которые много определяли, все больше и больше определяли в жизни России. И внятное представление, что разбойников нельзя считать нормальными людьми. И нельзя строить свои отношения с ними, как с нормальными людьми. И нельзя надеяться на то, что они другие и что они такие же, как ты. Там, скажем, для вполне приличного, в общем, очень наивного, немножко тщеславного человека Сергея Адамовича Кузнецова... Сергея Ковалева, ну, вот, мы до этого не дойдем. Ну, вот, он считал, что, вот, он делает какое-то приличное дело, вот он пытается дойти там в этих рамках, с этими людьми что-то сделать. И что, вот, они люди как люди. А Ельцин так и вообще пусть с недостатками, но демократический лидер...

С. П.: А вы такой максималист...

С. Г.: А потом началась... Да нет. Ну, а потом... а потом начались... Неожиданно для него оказалось, что отдан приказ о ковровых бомбардировках Грозного, и сорок тысяч или шестьдесят тысяч погибших в одну ночь. И эти приказы отдали вот те самые люди, вот, такие, похожие на него, с которыми, вот, можно разговаривать. И то, что через... с опозданием на четыре года он понял, что они не совсем такие, уже было поздно и уже ничего не меняло. Люди уже погибли. А куда до таких преступлений какому-нибудь Саддаму Хусейну или Муаммару Каддафи или «Аль-каиде».

С. П.: Ну да.

С. Г.: Вот так вот сорок тысяч русских людей в одну ночь. Я со своим ощущением, жестким ощущением дистанции и пониманием, что это другая среда, преступная, неоднократно повторяя это, сопротивляясь ее приходу к власти. Но, тем не менее, понимаете, когда в Москве взорвали дома... А до этого я считал, что я, не принимая, хотя бы понимаю, их психологию, понял, что в мою голову, в мое мышление это не вмещается. Это была одна из причин, почему прекратила работать «Гласность».

” То есть и нынешнее представление русского общества, что, ну, можно договориться, можно устроиться, и ничем они от нас не отличаются — вот это вот и есть самая серьезная, на самом деле внутренняя и моральная ошибка.

Не политическая. Не от наивности, не от глупости, не от неумения понимать, кто идет в России к власти. А вот от готовности по крайней мере стоять с ними рядом. И вот у меня этой готовности не было. Никогда. И поэтому «Гласность» всегда отличалась... Вероятно, она была изначальной и в тюрьмах... И поэтому «Гласность» всегда отличалась от всех других демократических, правозащитных организаций. Я считал, что без этого объяснения не очень понятно...

С. П.: Я понял, да.

О колонии в Юдово

С. Г.: ...на чем, вот. Ну, чтобы смягчить рассказы о колонии в Юдово, ну, еще пара таких... Конечно, там было очень голодно.

С. П.: То есть это... не так голодно, как в Верхнеуральске, вы говорили?

С. Г.: Нет, это еще не был такой голод, как в Верхнеуральске, который мог заставить пойти очень на многое, но, тем не менее, это был очень серьезный голод и недоедание. Тем более, что это ведь уже было время, когда мне было немножко легче, потому что, ну, вот, мне было около сорока лет в среднем. А в это время уголовный мир очень быстро молодеет. Количество заключенных не то, что там на нашем усиленном режиме, но и потом, когда я ездил в этапах, а меня всегда держали только с особым... То есть, возили меня одного, а держали с особым режимом, как правило. И даже количество этих «особняков», казалось бы, уже дошедших до самой жесткой степени, двадцати двух, двадцати пяти лет было очень велико. А молодым людям просто труднее выдерживать недоедание.

С. П.: Естественно.

С. Г.: Вот. И, скажем, я помню... рассказы о парне о таком вот совсем молодом, которого... лет девятнадцать ему было или двадцать, которого уже освобождали из нашей колонии — может быть до этого он была год или два на «малолетке». У нас это довольно часто бывало, к нам переводили с «малолетки» тех, кого осудили до восемнадцати лет, но потом, когда им становилось восемнадцать, их переводили к нам. И как он, зная, что такие случаи уже бывали, говорил: «Вот завтра выйду, куплю себе каши и съем десять мисок». — «Так ведь умрешь!» — «Ну, и что! Зато накушаюсь». И такие случаи бывали: люди, освобождавшиеся, умирали от несварения желудка, потому что, если была еда, они не могли остановиться.

С. П.: Но при этом вы говорили, что, в общем, вы описывали своеобразное меню тюремное такое: вы говорили, что там был и хлеб, пусть и плохой, там была баланда и каша.

С. Г.: Нет, во-первых, это я вам говорил о «Матросской тишине».

С. П.: А, это была «Матросская тишина».

С. Г.: А сейчас я говорю... В «Матросской тишине», да, голода не было. Еда была отвратительная, но, тем не менее, она была и более менее ровная для всех. Ну, для кого-то лучше, кто получал передачи... А в зоне это вполне зависело от того, какие права у тебя есть, и если ты человек бесправный, то ты получал там этой каши... половину столовой ложки на доньшко миски.

С. П.: А, то есть это... А кем это определялось? Это определялось администрацией?

С. Г.: А это определялось... Нет! То есть это могли, конечно, порекомендовать и раздатчикам. Но в основном, ну, что, раздатчик давал в соответствии с положением человека в зоне. Бывали какие-нибудь люди, которые приходили заранее и вообще выедали все лучшее, а бывали какие-то, ну, которых нормально... Потом в колонии есть одна особенность, которая, по-моему, никогда и никем не описывалась: молодые люди почему-то там не взрослеют. Я помню ужас парня, ну, не парня — он был такой хиловатый такой, довольно замученный, но, тем не менее, вполне приспособившийся. У него было пятнадцать лет, наверное, за убийство — я не знаю, мы не были с ним хорошо знакомы, но зрительно я его вполне помню. И, наверное, первые лет пять он просидел на «малолетке», потом уже лет десять у нас — то есть ему было под тридцать. Ну, во-первых, он страшно боялся: он не хотел освободиться, ему некуда было идти. Вот здесь вот... к этой жизни он как-то приспособился, он знал, что, вот, ему есть где переночевать, ему есть где три раза в день хоть какую-то еду получит. А что ему делать за воротами, он просто не знал. Он почти отбивался и испуганно так вот жался, когда его выгоняли. Но еще поразившей меня совершенно отличительной чертой у этого тридцатилетнего, по-видимому, тяжело жившего в зоне человека с морщинами, с серым лицом, начавшего сидеть... лысеть — у такого очень немолодого человека весь словарный запас, все представления были пятнадцатилетнего мальчишки. В лагере нечему научиться, и человек не взрослеет. Если он попадает туда взрослым — ну, взрослым и попадает, а вот если... Я потом несколько раз это встречал — но вот с этим вот сильно немолодым человеком, говорившем как подросток!

Дополнение про первую голодовку. Открытка от матери

Ну что еще вам рассказать? Ну, и наконец, были две вещи, которые, кажется, я вам не сказал, когда рассказывал об этой действительно очень тяжелой и страшной голодовке, стодневной, я не знаю, какой... Она для меня была личной. У нас в семье, в общем, все с такой спокойной холодноватостью в отношениях, без всякого «облизывания», разговора о том, как «я тебя люблю», тем не менее, были очень близки, как выяснилось друг другу внутренне. И очень... Ну, и как во всякой старой семье — и я об этом рассказываю в другой книге — в нашей семье, ну, довольно много необычных и странных историй, примерно таких же, как рассказывает Толстой в «Детство. Отрочество. Юность», как есть во всяких биографических книжках. И я довольно много об этом рассказываю в другом месте, но тут... Был, наверное, тридцатый или сороковой день голодовки. Естественно, ни одно мое письмо домой не доходило. Да я, в общем, на это и не надеялся.

С. П.: Но вы продолжали писать, то есть письма принимали?

С. Г.: Наверное, да, наверное, да, но понимал, господи, не надо быть сильно хитрым человеком для того, чтобы понимать, что ничего от тебя не дойдет. Но от мамы иногда доходило ко мне. Мама, как правило, писала письма, пусть небольшие своим почерком, в отличие от моего очень красивым и повторявшим почерк моего деда, и иногда в бумагах я не умею отличить. Но вдруг я получил открытку.

С. П.: То есть в карцер доходило письма, да, открытки?

С. Г.: Да, ко мне, вот, иногда доходило. Наверное, не все, не знаю, но что-то доходило, что-то мне приносили. И вдруг я получил открытку — вероятно, она там вон валяется среди горы тюремных писем, которых у меня бесчисленное количество, но некому их разбирать — где было только пять или шесть строк: «Ты знаешь, Сережа, меня сегодня очень испугал мой сон: я увидела, что Арсик» (Арсик — это был наш французский бульдог) «...умирает от голода. И рядом с ним стоит миска с едой, а он не ест».

N54

Милый Сергей! Мне несправедливо
ко мне знако, что с тобой
ондтв, что-то случилось.
Сейчас, когда, ондтв ви-
дела сон с Арсом и
знаю, что это касается
тебя. Правда я его уговари-
вала, но сам он страшно
бился и много не мог
сделать. Не знаю, что я
могу сделать для тебя и
успокою ли.
Живем по старому и
конца не видно
Целую! мама

30-8-78
Всегда в твой свет и сегодня
еще лети.

Одно из писем матери С. И. Григорьянца, в котором она упоминает повторный сон с собакой Арсом. Архив С. И. Григорьянца

С. П.: Надо же!

С. Г.: Зная, что у нее больное сердце, я потом даже боялся в каких-то случаях особенно экспериментировать, поскольку я человек по природе своей доходящий довольно далеко. Ну, и именно тогда (и, по-моему, я не сказал этого, а это очень важная для меня формула в течение всей моей жизни, выработанная как раз во время этой голодовки, а у меня не афористическое мышление, и этих формул у меня не так много)... Как я уже говорил, каждый день, когда уже ситуация стала серьезная и я уже не поднимался и даже воды не пил, ко мне приходил врач. И то ли он, то ли прокурор все меня убеждали: «Ну зачем вам это надо, Сергей Иванович? Вы же понимаете, что вы ничего не добьетесь». И тогда я внятно и жестко отметил, что потерпеть поражение не стыдно — стыдно не сделать того, что ты можешь и должен.

Ну, вот, это, по-моему, все мои дополнения.

С. П.: Давайте тогда мы с вами продолжим...

С. Г.: Если они вам подходят.

Окончание голодовки

С. П.: Вполне, очень подходят, да, спасибо. Вот, давайте мы продолжим сюжетную [линию]. Вот вы заканчиваете голодовку. Мне интересен такой вопрос, может быть несколько опять-таки же в сторону эмоций: что испытывает человек, который заканчивает голодовку? Ну, вот, прекращает, точнее голодовку. Это что: это победа или это поражение? Я даже этого не могу морально это оценить, поскольку это изначально очень сложная такая получается, ну, как это назвать — не игра, но некий очень серьезный акт, с одной стороны, с другой стороны — очень много в это вовлечено каких-то сторон, условностей каких-то. Вот прекращение голодовки — это что было для вас? Я просто думаю сейчас о Надежде Савченко, допустим, которая вроде тоже сейчас то начинает, то тоже прекращает...

С. Г.: Да.

С. П.: ...каждый раз балансируя на грани смерти.

С. Г.: Ну, понимаете, вот, всегда... многие голодовки очень разные, ну, то есть никакого ответа на этот вопрос нет единого. И я думаю, что я, поскольку мы еще будем говорить о других голодовках, когда-нибудь каждый раз это объясню или могу объяснить, если хотите, вам сразу заранее.

С. П.: Ну, давайте попробуем сейчас, может быть...

С. Г.: Ну, все голодовки.... В этой голодовке не было ни ощущения победы, ни поражения. Я точно знал, что я выдержал столько, сколько смог, и это было совсем не мало, и больше не смог. И никакой... Каждый нормальный человек ведь понимает, что в его сопротивлении, вот, есть какая-то граница, она просто у разных людей находится, скажем, в разных местах. Вот, что-то он может, а чего-то не может. Именно поэтому в одном из «Колымских рассказов» Шаламова есть такая

фраза — я не помню, о ком — «ему очень повезло: он умер на допросе». Ну, потому что, ну... нельзя судить человека, который не выдержал того, чего он не мог выдержать.



Мы все хорошо знали, что по-разному сидели наши соседи, там просто никто потом не подводил итогов, но мы точно знали, что были люди совершенно героические, а были люди... совсем другие.

И ну, это изменяло характер отношений, потому что на кого-то можно было полагаться, а на кого-то нет. Но это не значило, что это вызывало бы беспорное осуждение. Ну, наконец, у меня было множество других голодовок, не знаю, сколько. Я думаю, двадцать. Ну, поскольку голодовка — это единственное средство сопротивления в тюрьме, никакого другого нет. И тут чаще... Все они были вызваны какими-то конкретными причинами. Все они... ну, сами понимаете, если я жив, в какой-то момент прекращались. И прекращались, как правило, в результате соглашения. Администрации совершенно не интересно было постоянно ставить все новые и новые галочки о том, что такое-то количество людей, отказывающихся от приема пищи, а чаще всего это был единственный. Администрация так это понимала, что будет визит сначала одного прокурора, потом второго. Ну, в общем, к этому времени я уже хорошо понимал все правила игры. И, как правило, не полностью, но в какой-то степени администрация шла на уступки, а иногда и полностью. Вот, и ты прекращал голодовку, получив хотя бы белый хлеб.

С. П.: А конкретно после этой голодовки вы говорили, что вы ни о чем не договаривались, да?

С. Г.: Да, ну, потому что эта голодовка была... ее прекращение было связано, ну, с прямой моей слабостью, с тем, что я взял вот этот подложенный мне кусок... то есть буханку хлеба и к тому же еще был на этом пойман сразу же. То есть у меня никаких вариантов абсолютно не было, и я тут же немедленно написал заявление о прекращении голодовки, делая вид, что я его написал до того, как взял эту буханку, хотя на самом деле, конечно, было наоборот.

С. П.: Когда начинается голодовка, тоже пишут заявление? Или нет?

С. Г.: Да.

С. П.: Да?

С. Г.: Да, конечно.

С. П.: То есть это такая формализованная процедура, получается.

С. Г.: Да, это вполне формализованная процедура. Ты пишешь заявление, о том, что ты объявляешь голодовку по тем-то и тем-то причинам. И требуешь, чтобы какие-то соответствующие закону и твоим представлениям вещи были выполнены.

С. П.: Да, это как-то я не представлял себе, я думал, что это просто человек перестает есть и все. Значит, это все-таки некая такая...

С. Г.: Нет, нет! Это и для администрации вполне формализованная, как я вам говорил, причина: они подают рапорт, приезжают прокуроры через некоторое время, ну, и так далее, и так далее. Ну, совсем другой, но это уже мной описанный, я бы не хотел, другая опять-таки ситуация была, когда я ничего не потребовал взамен, когда я прекратил последнюю свою голодовку перед освобождением. И (*смеется*) это было нелегкое испытание. Я рассказал об этом в главе в статье «Последний год в тюрьме».

С. П.: Да, я, кажется, помню, да, как вы как раз там описывали...

С. Г.: Да. Вот там вот я прекратил голодовку без... Ну, в общем, голодовка, понимаете... Ну, как вам сказать? Голодовка — это средство борьбы. Очень опасное. Во время одной из голодовок, как мы, вероятно, дойдем, нас с Корягиным и Яниным просто отравили нейрорепелентами.

С. П.: Да, это я тоже читал.

С. Г.: Да. Ну, в общем, это по-всякому бывает, это реальный риск. То, что эта идиотка Новодворская призывала голодать — этого не делают даже воры! Это действительно... это не просто мучительно: рассчитать результаты голодовки нельзя, рассчитать последствия голодовки тоже нельзя. Но если ты находишься в таком положении, что это единственное средство... ну, как-то доказывать, что ты человек и что с тобой нельзя делать все, что заблагорассудится, тогда ты это и делаешь.

С. П.: Напомните, пожалуйста, вот эта голодовка была в колонии, которая в Юдово, да?

С. Г.: Да.

С. П.: А вы требовали перевода.

С. Г.: Нет.

С. П.: Нет? Вы говорили про...

С. Г.: Совершенно нет. Я требовал освобождения на... Я боюсь, что я, может быть, если вы не поняли, значит, я неправильно... не достаточно четко это сказал. Сначала, формально, я имел право на освобождение на «химию»...

С. П.: Да, на «химию», да.

С. Г.: ...так называемую, да. Ну, и требовал того, на что я имею права. А меня администрация не отправляла даже на суд — ну, это делалось с помощью довольно формального суда...

С. П.: А, понятно!

С. Г.: ...перевод на другой режим содержания. А меня они не рекомендовали, ну, и я начал голодовку. И это бы не имело никакого значения, я уже говорил это, но повторю еще раз. Это бы не имело никакого значения, потому что, в общем, это не касалось администрации лагеря. Все, что связано было со мной... и они мне пытались... Мне начальник колонии пытался объяснить: «Ну, Григорьянц, ну, вы же понимаете, что не я это решаю». Но вот когда погиб вот этот старик, и я начал обвинять их в убийстве — вот это уже было... ну, реальная ситуация, которая угрожала их служебному положению.

С. П.: А как получалось, что вы... вы их обвиняли в своих, очевидно, заявлениях, да?

С. Г.: Да.

С. П.: Вы писали, заявление, жалобы.

С. Г.: И заявления всегда отправлялось.

С. П.: Они отправлялись? А почему?

С. Г.: Да.

С. П.: Как это происходит? Почему, вот?...

С. Г.: Ну, потому что, вот, в это советское время — и это касалось не только меня — на самом деле администрации в лагерях, в тюрьмах бывали очень разные. Иногда очень жестокие, при том что, ну, скажем, лагерь или тюрьма одного и того же режима могли быть совершенно разными. И в Управлении исправительных учреждений они очень хорошо знали разницу. Именно поэтому вот сейчас вот, когда я прекратил голодовку... Нет, не сейчас, это будет позже. В общем, когда я прекратил голодовку в Чистопольской тюрьме, меня отправили в Верхнеуральскую. Казалось бы это вот тюрьмы одного режима — ну, и что? Но они точно понимали разницу. Так что эта разница и поддерживалась и... Ну, иногда были какие-то там снисхождения вот в результате голодовок, допустим, особенно коллективных, которые устраивали воры. Но, в общем, на самом деле и руководство управлений и руководство прокуратур, в общем, как правило, поддерживало администрацию. В Пермской зоне была замечательная история... И жалобы, в общем, рассматривались самым таким... легкомысленным образом. Да, они всегда доходили...

С. П.: Но все-таки...

С. Г.: Да, они всегда доходили — вот это, этого, тем не менее, требовали от лагерей и тюрем.

С. П.: Это, конечно, поражает: это вроде, казалось бы, полное бесправие человека, который оказался за решеткой...

С. Г.: Это было не полное бесправие, это было все-таки не полное бесправие, потому что, в конце концов, если говорить серьезно, я потом расскажу о настоящем садисте... Но, в общем, садистов было не так уж много. Или, по крайней мере, это были особенные, особенно жесткие тюрьмы и лагеря. Ну, и, в общем, Верхнеуральск, конечно, был из плохих, но не самых страшных из тех, что существовали в России. Но, тем не менее, руководство хотело в знак обещания во всем поддержать администрацию. Вот, скажем, когда я вам сейчас говорю о об убийстве этого старика. Это же не значит, что там кого-то стали бы судить за это. Или когда мне сломали руку в Чистополе. Но тем не менее, этого старшину уволили. И тем не менее, начальник зоны мог ожидать, что какой-то выговор он может получить. Вот не надо доходить до такого состояния, понимаете, не надо убивать. Это не значит, что его судить будут, не значит, что... но тем не менее. И поэтому это было очень существенным ограничением, понимаете? И это... ну, иногда носило вполне издевательский характер, скажем. В Пермской зоне, по-моему, кто-то написал жалобу о том, что вот у него нога сорок второго размера, а ему выдали сапоги тридцать восьмого. И в положенный по закону месячный срок получил из прокуратуры ответ: «Ваша жалоба проверена. Вы осуждены правильно». *(Смеются.)*

С. П.: Ну да. Сейчас тоже встречается в каких-то... официальной переписке, когда просто ответ неадекватный приходит вообще.

С. Г.: Ну да...

С. П.: То есть ответ есть, но он...

С. Г.: Да. Но есть. И жалоба была отправлена. Так что... Ну, господи, ну, конечно, это, в общем, достаточно страшный мир, но во времена Хрущева особенно и, в общем, Брежнева, все время ухудшаясь, но, тем не менее, он был более законопослушный, чем, конечно, в сталинское время и, насколько я понимаю, чем теперь.

После голодовки. Бунт в зоне

С. П.: Давайте сюжетно дальше пойдем. Вот вы закончили голодовку в...

С. Г.: Ну, я закончил голодовку. Значит, некоторое время приходил в себя, потому что, в общем...

С. П.: В больнице или это вас снова бросили?

С. Г.: Нет, это был тот же карцер, но теперь уже обычная лагерная баланда, все-таки, по-моему, с белым хлебом все-таки. Дней тридцать приходил в себя, и тут, как я вам рассказывал... с одной стороны, мне пытались сфабриковать дело о разглашении государственной тайны в связи с моими письмами домой, которые, конечно, попадали в КГБ. А с другой стороны... — где ничего абсолютно не было... — а с другой стороны, в это время начался бунт в зоне.

5/11-8
 Дорогие мои Тома и мама,
 пишу вам, надеюсь все и успокоить и
 укорить себя в отсуствии писем (соборно
 но ет Тома - я не получил ни одного
 письма, адресованное в Чистомол). Я
 как видите, здесь и будем надеяться, что
 куда не поеду.
 От мамы я получил последний раз
 (уже шесть назад) карту кедровых
 открыток, но к сожалению не могу
 ответить на все вопросы. Мне очень
 жаль, что мама пишет такие грустные
 открытки и письма, жаль что так
 стареет Арсик. Не видела ли мама
 опять его (с месяц назад) во сне в своей
 квартире? Это было бы все тем же нашим
 инстинктивным совпадением с действительностью.
 Мне и мне все нет и это
 и вызывает все проблемы. Тем не менее
 я заставляю себя по два часа в день
 заниматься английским; как ораторско-
 лекские старушки записывают всю при-
 млемую музыку, то слышу по радио-

Одно из писем С. И. Григорьянца жене и матери. Архив С. И. Григорьянца

С. П.: Да.

С. Г.: Начался бунт в зоне, и уже... Ну, сперва они попытались там какие-то стукачи повыспрашивать у меня, а не имею ли я к этому отношения, но я к этому уже времени уже сто дней голодал, я был изолирован, так что привязать меня, конечно, очень бы хотелось, но, в общем, было совершенно невозможно. Ну, то есть уже стало не до меня. И через месяц, вероятно — уже был ноябрь, я думаю — это значит, какого?...

С. П.: Это 76-й, получается, год?

С. Г.: Нет... Наверное, да, конечно, 76-го года. Ну, меня вызвали на суд. В это время судили, значит, зачинщиков бунта, но я их не видел и не знал, кто там был зачинщиком, все это было совершенно от меня изолированно, и никто мне этого не рассказывал и не показывал. А бунт был серьезный, с вводом войск в зону, с одним из корпусов, который просто заключенные попытались превратить в такую небольшую крепость, и там забаррикадировались. Ну, потому что, я думаю, что я действительно все-таки в этой зоне жил довольно благополучно. И да, конечно, я с уголовниками такими профессиональными был в хороших отношениях, но не настолько уж доверительных. Да, конечно, потом начались какие-то выговоры и репрессии против меня, но к этому времени я уже объявил голодовку. То есть как следует я не знал, что делается в зоне. Вероятно, основания для этого бунта все-таки были. Но так или иначе, я был осужден за нарушение режима содержания, на перевод на тюремный режим. Тюремный режим в Советском Союзе назначался в двух случаях. Всякие довольно дикие русские журналисты любят называть следственные изоляторы тюрьмой, еще что-то такое, но это внешнее сходство. На самом деле тюремный режим это режим, который получают в двух случаях: или в случаях совершения особо даже не опасных, а жестоких преступлений. И тогда тебе могут дать тюремный режим просто в зале суда. Ну, например, один из моих соседей был, кстати говоря, по-моему, это еще малолеткой, а я его уже застал взрослого, в общем, сидел он за то, что они с приятелем отрезали кому-то голову и играли ею в футбол. И вот они сразу же получили тюремный режим. Можно было получить вот так, как я, первый раз за нарушение содержания в колонии, поскольку считалось вот, что с этими нарушителями легче справиться в тюрьме. Именно поэтому я из своих девяти лет в колонии был единственный год нормальный. Правда, в следующий раз я получил тюремный режим просто, потому что было еще одно правило. Это уже во второй свой срок. Тюремный режим назначался людям, даже если это не предусмотрено приговором, которые уже до этого были осуждены, уже до этого находились на тюремном режиме. Их после тюремного режима не отправляли в зону, их на два года отправляли опять в тюрьму. Ну, потому что тюремный режим вырабатывает довольно жесткий специфический тип отношений между людьми. И, скажем, когда уже потом из Верхнеуральской тюрьмы, где тоже решили, что со мной трудно справиться, мне начали угрожать, что меня отправят в такую же отвратительную Ивано-Франковскую вместе с какими-то двумя ворами, которые тоже были нарушителями спокойствия уже в тюрьме. Этап — это всегда очень опасно. Этап всегда тяжел, непредсказуем, особенно для такого постороннего человека, как я. (Смеется.) Но к этому времени, побывав в двух тюрьмах, я уже относился к этому почти с насмешкой. Я уже был «крытник» и я уже точно... «Крытник» — это и есть название тех, кто сидел в тюрьмах, в крытой тюрьме. И я уже точно понимал, что сколько бы и каким бы ни был... не длился и каким бы ни был этап, близко ко мне никто не подойдет.

Чистопольская тюрьма

С. П.: Но это мы забегаем вперед, да?

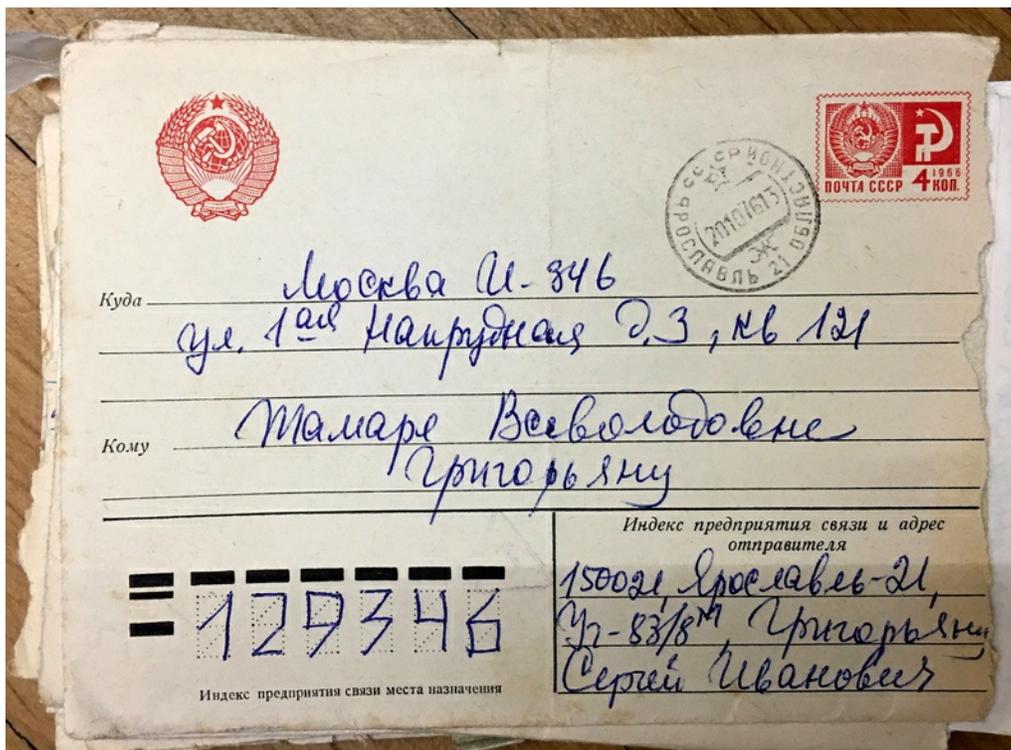
С. Г.: Это мы сильно забегаем вперед. Просто я уже полностью отвечаю вам на вопрос. А так меня, значит, не вполне пришедшего в себя, опять перевели сначала в Ярославскую тюрьму и потом из Ярославской тюрьмы отправили в Чистополь.

С. П.: Это как раз и был этап ваш очередной, да?

С. Г.: На тюремный режим. Ну, это из таких... да, это, вот, был этап.

С. П.: Он долго же длится, да, может длиться — месяц и?..

С. Г.: Ну, по-разному, у меня бывало, что и три дня, и я это как-нибудь тоже, до этого мы, может быть, дойдем. Это зависит от ситуации. В данной ситуации у меня это длилось довольно долго, но опыта у меня еще особенного не было, но все-таки я был из тюрьмы и, наверное, я какие-то ошибки делал и говорил. По-моему в этот раз единственный я был в «столыпине»... нет, ну, вот, второй раз, поскольку меня уже привозили в Ярославль еще в общей такой... в общем блоке. Но, в общем, ничего особенного со мной не случилось, по-моему. По дороге кто-то... купил у... ну, точнее, дал то ли деньги, тот ли какую-то вещь охраннику-солдату, и тот принес бутылку одеколону... Я впервые я попробовал, что такое одеколон, вот...



Конверт с письмом, отправленным С. И. Григорьянцем из Ярославской колонии. Архив С. И. Григорьянца

С. П. (со смехом) Ну, и как вам?

С. Г.: Ну, противно довольно, но, в общем, ничего. Тут, надо сказать... ну, потом я сделал такую одну ошибку однажды: в таких случаях нельзя отказываться. Я однажды отказался тоже на этапе в камере уже особого режима в компании пить чай — это сразу же вызвало серьезные подозрения и ухудшение ко мне отношения: если человек отказывается, значит он о себе что-то знает, почему он не должен быть в общей компании. Но больших последствий это, к счастью не имело, довольно скоро меня отправили, но это была ошибка. А мне просто не хотелось пить чай, не хотелось, ну, вот. Все там чифирили, все там...

С. П.: Думаю, что там чифирь был, да, это же...

С. Г.: Да.

С. П.: Вы так просто говорите: «чай». Вообще-то же это скорее всего был чифирь.

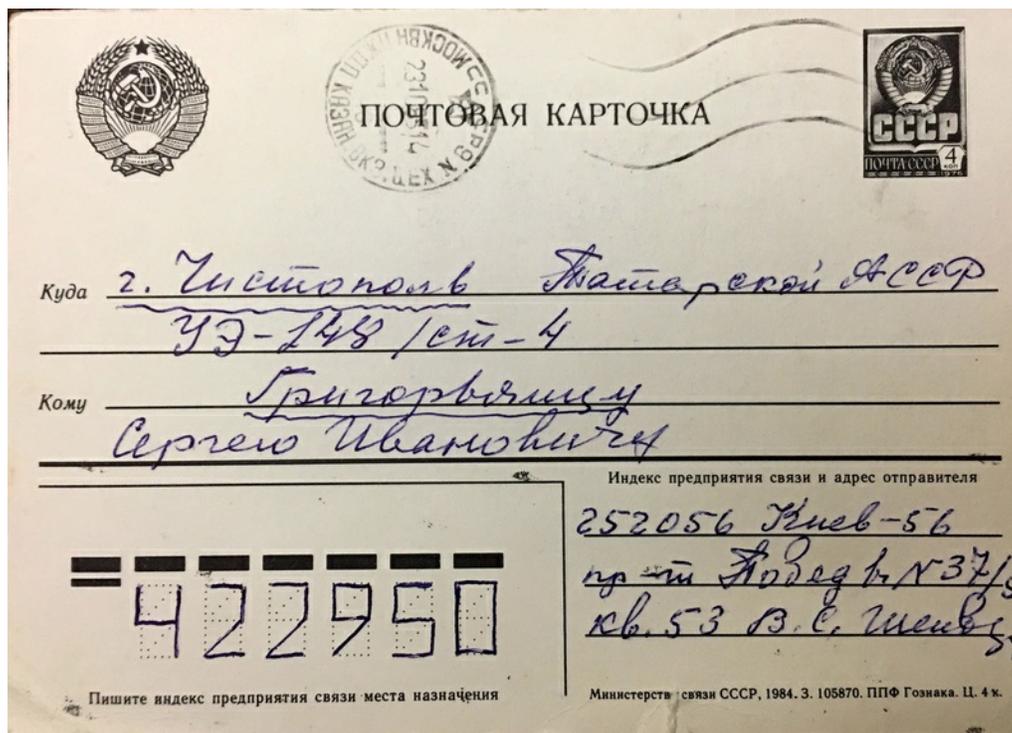
С. Г.: Нет, ну, чифирь, конечно, конечно чифирь. Сварили чифирь, да, передавали кружку по кругу...

С. П.: А часто вообще это происходило? Насколько это была такая практика: чифирь и... Как это происходило, может, расскажите?

С. Г.: Ну, обычно это происходило самым банальным образом: обычно чай как самая распространенная валюта и в зонах и в тюрьмах, в общем, так или иначе появлялась, покупалась у охранников, передавалась. Это не было такой безумной

редкостью. Ну, в колонии это вообще было не трудно, а в зоне, где ничего как бы не было обычно или скручивали полотенце и жгли полотенце, и на полотенце в кружке кипятили там пачечку чая, в алюминиевой. Или отрывали кусок от матрасовки, ну, в общем, чтобы что-то можно было поджечь. Ну, чифирь... ну, как вам сказать... Там, в «Матросской тишине», поскольку я был в таких, «отобранных» камерах, по-моему, я чифиря не пил никогда. Но уже в Ярославской зоне и дальше, пока я был в уголовных зонах и тюрьмах — это было постоянное. Обычно, в общем, если ты, так сказать, в компании людей, которые пользовались авторитетом, то у них, как правило, чай есть. Это самая обиходная вещь и в зоне, и в тюрьме.

Ну, привезли меня в Чистополь. Чистополь именно в это время еще не был политической тюрьмой. Он был довольно либеральной уголовной тюрьмой, которая лет за несколько до этого, по-моему, была больницей. Ну, это довольно обыкновенно вот старые корпуса, там меняют режим в таких тюрьмах раз в десять лет. По крайней мере, тогда меняли.



Письмо С. И. Григорьянцу в Чистопольскую тюрьму от матери

С. П.: В смысле это была тюремная больница.

С. Г.: Да, конечно, вот. Ну, в общем, посадили меня в какую-то камеру, где производили так называемые шарабежки. Шарабежки — это... ну, вот у вас нет браслета для часов металлического, а это были такие для местного чистопольского завода часового смонтированные пружинки...

С. П.: А, я понял, что это такое...

С. Г.: ...и еще что-то такое, внутри...

С. П.: ...стержень такой, который... да.

С. Г.: Да, стерженек, еще что-то такое. Для этого были какие-то машинки. Ну, и вот в каждой камере былкакой-то свой план, который она должна была выполнять.

С. П.: А сколько человек в камере?

С. Г.: Ну, в камере было человек пятнадцать, я думаю. Все это были молодые люди гораздо моложе меня. Но как в это время, как я уже говорил, вообще было в уголовном мире. Ну, работа не была такой уж обременительной, довольно быстро мне объяснили, что надо делать. Это было единственное время, надо сказать, когда я работал в тюрьмах. (Смеется.) Но, тем не менее, какое-то количество времени вот так вот вполне миролюбиво все вместе сидели. Вот тут как раз я изредка начал рассказывать какие-то фильмы для развлечения соседей, а потом действительно начал читать Достоевского...

С. П.: Вслух, да?

С. Г.: Да, после отбоя.

С. П.: Вас как-то особенно уважали за это, ценили?

С. Г.: Не знаю. Ну... конечно, такие фильмы, как я рассказывал, никто не мог рассказать. Но мне-то была очень интересна реакция на Достоевского.

С. П.: Ага. То есть это был ваш эксперимент такой, вы сказали : «Давайте...»

С. Г.: Да, конечно, это был мой, это был мой отбор, я вот решил почитать «Преступление и наказание». Реакция была очень интересной и совершенно неожиданной для меня, потому что, может быть, потому что это были сравнительно приличные ребята, ну, хотя с очень разными историями. Я слушал их, в свою очередь, с наслаждением.

С. П.: А какой уровень преступлений? Я не знаю, это же не убийство было или что-то менее серьезное?

С. Г.: Нет, ни у кого не было убийства, это были какие-то ограбления, это были какие-то... с довольно внятной такой позицией, что чужое возьму, а своего не отдам. Но с очень интересными иногда историями. Люди были так талантливы, что иногда я просил по пять раз повторять одну и ту же историю.

С. П.: Ну, расскажите какую-нибудь вкратце.

С. Г.: Ну, я уже даже не могу так рассказать, у меня уже не... Мне не интересно рассказывать это настолько хуже...

С. П.: А талантливо... То есть это было очень артистично или это было очень изобретательно?

С. Г.: Это было и артистично, изобретательно, это был очень богатый язык, совершенно неожиданный. Ну, в общем, это было большое удовольствие.

С. П.: А язык в смысле какой-то, не знаю, региональный язык...

С. Г.: Нет.

С. П.: Или в смысле тюремной фени?

С. Г.: Нет, это не было феней. Феня к этому времени уже вышла — кроме нескольких песен, которые я записал еще в Юдово на фене, которые сохранялись — в общем, феня не сохранялась в уголовном мире, ну, кроме нескольких каких-то слов. Сейчас их в Москве больше, чем тогда было в зоне.

С. П.: Ну да.

С. Г.: К моему глубочайшему отвращению. Вот. Но рассказывали иногда.

” То есть я видел людей такой замечательной талантливости, молодых людей, что меня не просто поражало, но доставляло наслаждение.

Но, в общем, это длилось не так уж долго, это длилось месяцев пять. Не думаю...

С. П.: Извините, к Достоевскому давайте вернемся. Какая была реакция?

С. Г.: Реакция была как раз отнюдь не сочувственно-уголовная, а наоборот сочувственная к Мармеладовым, сочувственная к тому психологическому наполнению, которое и главное было у Достоевского. Вообще гораздо более разумная, чем я ожидал.

С. П.: Может, это результат просто школьного образования какой-то?

С. Г.: Да нет! Никакого у них не было школьного образования. Господи, были какие-то провинциальные школы, иногда пять классов, иногда семь классов.

С. П.: Достоевский — это уже старшие классы.

С. Г.: Нет, нет, это было абсолютно. Ну, и тогда Достоевского не учили в школах.

С. П.: Да, да, точно.

С. Г.: Вот. Нет, это было, это было природное. Это было природное, и тогда я у кого-то из врачей, который вдруг мне начал рассказывать о каких-то книгах Бердяева, который начал о чем-то меня спрашивать... И, в общем, это уже началась вокруг меня работа КГБ опять. Но, тем не менее, получил, по-моему, даже не... именно не из тюремной библиотеки, а специально для меня где-то найденные «Записки из Мертвого дома», поскольку мне-то хотелось как раз вот почитать и послушать реакцию на «Записки из Мертвого дома». Но из этого уже ничего не вышло, потому что довольно быстро нашему в общем-то приличному парню-бригадиру начали объяснять после того, как однажды занизили норму выработки... А в зависимости от нормы выработки можно было заказать больше или меньше продуктов в ларьке — вот этого маргарина, сигарет, сырков плавяных...

С. П.: Сахара, возможно, да, что-то такое.

С. Г.: Ну да, может быть сахара немножко. Ну, в общем, вот каких-то таких довольно жалких продуктов. Но соседи мои были молодые, и для них эта лишняя еда имела большое значение. А тут им внятно объяснили, что Григорьянц не хочет найти общий язык с администрацией, и поэтому вот страдает вся камера.

Тюремная больница

С. П.: То есть они как-то стали на вас давить или?...

С. Г.: Нет, они... Ну, конечно, в общем, отношение как-то изменилось. Нельзя сказать, что они уж очень на меня давили...

или успели это сделать, но довольно быстро мне это было сказано, я, естественно, написал жалобу в прокуратуру, что администрация провоцирует внутрикамерные конфликты, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. А у меня в это время начала очень болеть рука. Приехал врач из казанской больницы, сказал, что у меня обострение остеохондроза, меня отправили в казанскую больницу. Так что, в общем, ничем это не кончилось. Но, к сожалению и «Записки из Мертвого дома» я тоже до конца прочесть не успел. И обсудить. Казанская больница была очень интересным местом.

С. П.: Извините, а вот как же врач? Я так понимаю, это довольно гуманный шаг с его стороны. Вот болит рука, ну, болит — это же не сердце остановилось!..

С. Г.: Ну, почему, собственно! Нет, но у меня действительно уже не поднималась рука, к тому же я все хуже и хуже ею владел. Я не знаю, как это... Нет, это было довольно обыкновенным. Сравнительно недалеко от Чистополя там в шестидесяти километрах была тюремная республиканская больница казанская, куда попадали самые разные люди, большую часть те, кто так или иначе «косил», ну, иногда достаточно беспощадным для себя образом. Ну, скажем, ну уж очень хотелось полежать на простынях — тогда же не было простыней в камерах были так называемые матрасовки. И еда, в общем, тоже была не бог весть какой. Но больница — это было все-таки совсем другое. Самым распространенным способом попасть в больницу было такое связывание между собой двух кусков гвоздя крестом, обычно резинкой, а потом сгибание этого креста...

С. П.: Параллельно.

С. Г.: ...поскольку это было, да, параллельно. Ну, и закрепление этого, скажем, мякишем хлеба.

С. П.: И что, неужели это глоталось?

С. Г.: Да. И это глоталось. И это глоталось, а потом этот мякиш в желудке раскисал, это превращалось вот в такой вот крест...

С. П.: Кошмар! А как-то это называлось?

С. Г.: ...внутри пищевода, который можно было только вырезать. Это еще было... это было самое распространенное, но еще и довольно безобидное средство, потому что глотались и ложки, вмазывалась в глаза сера. Вообще количество таких способов попасть в больницу было очень велико. Имитировалось кровохарканье, но всерьез и с помощью всяких страшных способов. Казанская тюрьма была в старой церкви... казанская больница была в старой церкви... А, нет! Больница была больницей. Больница была больницей, меня туда привезли, начали мне колоть какие-то... По-моему, мне начали делать уколы еще в Чистополе, но это в тюремных условиях не помогало, поэтому меня... Может быть поэтому, а может в результате моих жалоб в прокуратуру, потому что так или иначе провоцирование администрацией внутрикамерных конфликтов — ну, в общем, это вполне серьезное нарушение.

С. П.: Ну да.

С. Г.: Это, кстати говоря, оказалось очень большой проблемой и обидой для моих соседей, потому что у нас была тихая камера, ну вот, как-то устроившаяся. Но к тому времени, когда решили увозить меня, ее всю тут же разбросали. В результате все мои соседи попали в какие-то гораздо более жесткие камеры. И для них Чистополь, по-видимому, не был уж совсем легкой тюрьмой, как вообще не бывают легкими тюрьмы. Ну, и я знал, что они очень жалели, что все это произошло так. Ну, кто-то мне передал это. Ну, что, ну... В тюрьме я сделал... в больнице я сделал очень серьезную ошибку, очень опасную. И спасло меня только, ну, все-таки хладнокровие. Сначала все было довольно мирно и либерально, ко мне бегали какие-то люди, чтобы я тайком написал жалобы. А надо сказать, что в воровских понятиях еще и существует запрет на писание жалоб.

С. П.: А, то есть поэтому тайком...

С. Г.: Ну, тогда существовал. И поэтому ко мне бегали, в общем, тайком. Я довольно много проводил времени с высоким красивым мужиком лет пятидесяти, нет, даже пятидесяти пяти, вероятно, — мы с ним играли в шахматы. Он мне рассказал, что он так называемый «польский вор».

С. П.: «Тушинский» знаю, «польский» — не знаю.

С. Г.: Ну, это был такой деликатный термин для воров, которые, тем не менее... ну, которых в зонах называли совсем иначе, для воров, которые сотрудничали... открыто сотрудничали с администрацией, что так вот было в Польше и так вот...

С. П.: Но при этом вор, да? То есть какая-то у него иерархия...

С. Г.: Ну да, он был из воровского мира, но просто потому что... он действительно был очень хорош собой — высокий блондин — и родом из Ростова. И когда пришли немцы, его увезли на какие-то работы в Германию. Но работать ему совершенно не хотелось и было неинтересно, поэтому довольно быстро он попал в лагерь. Ну, по-видимому, сбежал от своих там немецких крестьян, где должен был работать. В лагере, благодаря своей внешности, он сказал, что на самом деле он фольксдойче — и он действительно был похож на немца. А уже никаких особенных документов не было, уже, в общем... Или наполовину фольксдойче. К немцам относились все-таки иначе, чем к другим, поэтому ему особенно плохо не было. Но все равно совершенно неинтересно было сидеть в лагере, и как он мне объяснял, ну, что, ну, немцы очень наивны, сбежать, в общем, ничего не стоило, а просто некуда было бежать. Он один раз сбежал, второй раз сбежал, в конце концов попал, по-моему, в Маутхаузен, то есть уже в лагерь смерти. У него был вот так вот на руке выгравирован номер, который он мне показывал. Там у него начались какие-то страшные нарывы на шее и в таком количестве, что он, наверное, умер, но жена какого-то офицера, немка, поселила его у себя в ванне и выходила. И таким образом он спасся. Ну, а к этому времени уже подошли и советские войска, и его освободили. Поскольку у него, по-видимому, была очень хорошая способность налаживать отношения, руководитель подпольной группы в лагере написал ему характеристику, что он тоже был участником подпольного движения, и благодаря этому его не арестовали сразу же. Погрузили их в вагоны, проехали они, значит, всю Польшу, доехали до русской границы. Был август, осень, и поезд остановился где-то на открытом месте, где поставили столки...

С. П.: Ну да, там уже сортировали.

С. Г.: Да, за которым сидел там какой-то майор. Перед ним была пачка «дел», а к нему выстраивалась, значит, очередь, длинная очередь. «Ну, я, — говорит, — постоял, постоял, постоял в этой очереди и вдруг увидел, что на... майор ничем особенно не занимается, просто спрашивает там фамилию, имя, отчество, год рождения и одни идут в одну сторону, другие — в другую. Но вокруг одних уже я увидел солдатский конвой, а другие, значит вот, как бы окружены солдатами не были. Тогда я все сообразил, выскочил из очереди... К счастью, у меня был носовой платок. Я нашел какую-то ветку, весь скрючился, носовым платком перевязал себе лицо...»

С. П.: Ничего себе!

С. Г.: «...и встал в очередь в другом месте. Ну, те, кто были здоровые, попадали в...»

С. П.: В оцепление.

С. Г.: «...в оцепление, а инвалиды, каким выглядел и я, скрючившийся, их освободили. Правда, я потом попал в лагерь, но это уже было через год и по другому делу».

С. П.: То есть их набирали исключительно по принципу рабочей силы.

С. Г.: Да, абсолютно. Это уже проверенных в лагере.

С. П.: А! То есть это были просто...

С. Г.: Нет, это уже те, кто не сотрудничал с немцами.

С. П.: Понятно.

С. Г.: Это уже те, у которых были справочки о том, что они не сотрудничали, но были здоровы. В какой-то момент у меня хватило осторожности перестать с ним играть в шахматы, потому что в просторечье эти «польские воры» назывались «суками»...

С. П.: Вот я как раз подумал, что...

С. Г.: ...и это мне точно портило отношение со всеми соседями. И он так вполне это понял, на меня не обиделся — просто я перестал приходить в его палату играть в шахматы.

С. П.: То есть «польский вор» это получается такой эвфемизм, на самом деле это «ссучившиеся» все вот эти вот.

С. Г.: Да, да, но после этого в казанскую больницу, узнав, что я там, приехала моя жена в надежде, что нам дадут свидание. Свидание не дали, но передали мне привезенную ею бандероль, то есть один килограмм. В бандероли я уже не помню что было, но была одна странная и, в общем, для лагеря роскошная вещь. Да и вообще не очень понятно, почему они передали: это была упаковка шведских лезвий для безопасной бритвы. Но шведских! <нрзб.> упаковка! Естественно, они не напоминали лезвия «Нева», которые продавались в Советском Союзе. В упаковке было десять лезвий. По-моему, в соседней камере... в соседней палате — это были палаты, в общем, все мы ходили, общались, — был армянин, вор. С которым у меня не было особенно хороших отношений, но не было и плохих, были такие нормальные. Пожилой, больной действительно... Но мне не хочется пересказывать разнообразных эротических историй, которых, конечно, в больнице было действительно много, тем более там было много совсем юных мальчиков. Но он к этому не был причастен. Но вот когда я получил эти лезвия... он то ли забрал, то ли потребовал от меня восемь из них, оставив мне, значит, два. Ну, он и без того хорошо жил, надо сказать, и без того у него было больше, чем у кого бы то ни было и еды, и вещей, и всего. И я ему сказал, что нет, а вот если бы меня попросил какой-нибудь нищий, бедный человек, я бы ему, конечно, дал, а ты и без того живешь лучше, чем все остальные. И тебе я не дам. Я не понимал, что я делаю. Я не понимал — причем я сказал это еще публично к тому же — что, тем не менее, я подрываю его авторитет, его положение.

” И он мне сказал: «Я никогда не бил армян». Он меня слегка шлепнул по щеке. И после этого все переменялось, в тот же день: то есть меня начали травить буквально все соседи и требовать, чтобы я лег спать на полу около двери, вечером, когда все собрались.

Ну, что привело бы, конечно, к вполне отвратительным последствиям. Но у меня хватило тем не менее самообладания сказать: «Это с какой стати? А <нрзб.> не хочешь ложиться — иди ложись сам!» А утром меня забрали на этап. По-видимому, там были осведомители, по-видимому, кто-то рассказал администрации, что происходит...

С. П.: Эту ночь вам удалось нормально провести, да?

С. Г.: Да.

С. П.: У вас не было никаких...

Пересыльная тюрьма

С. Г.: Эту ночь мне удалось нормально провести, но когда меня в «воронке» везли в казанскую тюрьму — из больницы в тюрьму пересыльную — я почувствовал, что у меня как-то так немножко чешется плечо: вдруг оказалось, что я весь так вот, вся шея и все правое плечо были покрыты красной сыпью.

С. П.: Это нервное что-то такое.

С. Г.: Ну, да, вот такого подавленного. Ну, не могу сказать, что в казанской пересылке все было так легко и просто, потому что в это время была какая-то инфекция то ли гриппа, то ли чего-то другого, и из этой пересылки никого не увозили. Привозили так или иначе все новых и новых. И тут я попал в камеру, где было тридцать, если не сорок человек. Ну господа, ну, это были мужики, которые, ну, просто нечего было делать, и было очень скучно кроме всего остального. Я писал какие-то заявления о том, что надо начать развозить, что... Меня вызывал к себе начальник тюрьмы Кузнецов, и я ему говорил: «Ну вы же понимаете, что им нечего терять, что у многих там срок по пятнадцать лет, а то и больше, что эти люди, вот, которые раскачивают „столыпины“ и переворачивают». На что он на меня смотрел и говорил: «Пока человек жив, ему есть что терять».

С. П.: А вас из больницы забрали, уже чтобы отвезти не обратно в Чистопольскую тюрьму?

С. Г.: Нет, теоретически в Чистопольскую, почему же. Вот, но все равно, но... надо было обладать другими качествами, чем те, что были у меня, чтобы даже при некотором моем здравом смысле чтобы выдерживать среду сорока мужиков, которым... уголовных мужиков, которым просто нечего делать.

С. П.: Ну, а что это? Можете как-то описать эту среду?

С. Г.: Ну, в конечном итоге они там, по-моему, уже после моего ухода, они начали просто приставать к наиболее слабым. Там был симпатичный парень, который, по-моему, занимался йогой, — они начали терроризировать его, и, кажется, это плохо кончилось все. И слегка начали терроризировать меня, а я, конечно, не умел отбиваться как надо по уголовным понятиям. Я сделал другую вещь. К этому времени я уже узнал, что в Чистополь перевели политзаключенных из Владимира.

С. П.: С того момента она уже стала политической тюрьмой.

С. Г.: Да. И я написал заявление и объявил голодовку. И потребовал, чтобы меня перевели... что, вот, у меня политическая статья, «190-прим»¹ — в самом деле политическая. Вот, и я требую, чтобы меня перевели к... На самом деле и все мои соседи, и я понимали, что это способ безопасно уйти из камеры. Что, в общем, и произошло. Тюрьма эта была в бывшей церкви. И меня перевели тогда в «одиночку», после какого-то количества дней, которые я проголодал в общей камере, куда-то под купол. И у меня над головой был апостол Павел вот так вот на...

¹ Статья Ст. 190¹ («190-прим») — распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй была включена в УК РСФСР в 1960 г. и отменена в 1989 г.

С. П.: Прямо целиком весь купол или это часть его была?

С. Г.: Нет, это была часть, это был какой-то из...

С. П.: Ничего себе!

С. Г.: А я довольно упорно голодал. Довольно быстро они мне начали объяснять: «Но вы же понимаете, Григорьянц, мы бы вас и перевели, но там же... Владимир — это строгий режим, а у вас»...

С. П.: Ну да, у вас усиленный.

С. Г.: «...усиленный». Но я все равно, все это мне надоело до омерзения. Через какое-то время они начали делать искусственное питание, через какое-то время меня вернули действительно в Чистополь, но продолжали уже держать в одиночках как голодающего. Это продлилось месяца полтора или два, не помню уже сколько. Ну и в конце концов они устроили суд и решили перевести меня в Верхнеуральск.